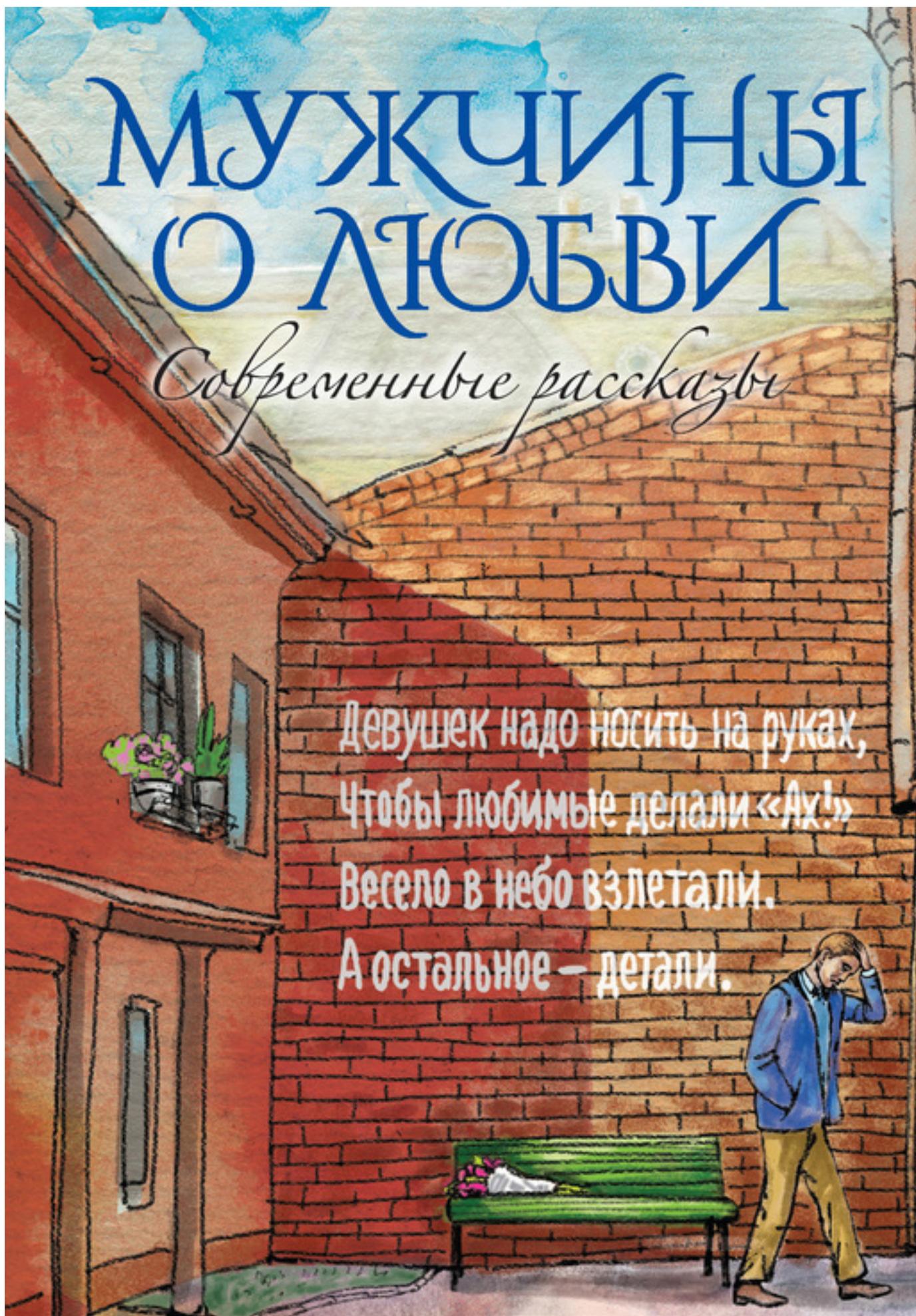


МУЖЧИНЫ О ЛЮБВИ

Современные рассказы

Девушек надо носить на руках,
Чтобы любимые делали «Ах!»
Весело в небо взлетали.
А остальное — детали.



**Александр Снегирёв
Родион Андреевич Белецкий
Владимир Михайлович Сотников
Андрей Филимонов
Олег Юрьевич Рой
Владимир Семенович Маканин
Роман Валерьевич Сенчин
Василий Павлович Аксенов**

Мужчины о любви. Современные рассказы

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11830394

*Мужчины о любви : современные рассказы / Олег Рой, Антон Чиж, Роман Сенчин, Василий Аксенов, Александр Мелехов, Владимир Маканин и др.: Издательство «Э»; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-83385-6*

Аннотация

Мужчины книги о любви не читают. Они их пишут. Придумывают любовные коллизии, приводят истории своих героев и героинь к трагической или счастливой развязке. Иногда в битвах с мужчинами за счастье женщинам так хочется заглянуть им в голову, чтобы понять: почему они не любят нас так, как нам хочется? Почему слышат одно, думают другое, а делают третье? Рассказы из этого сборника написали современные авторы – те, которые в наши дни формируют культурное пространство и влияют на умы. Читайте, дорогие женщины! Может быть, именно таким образом удастся постичь мужской ход мыслей....

Содержание

Родион Белецкий	5
Василий Аксенов	17
Александр Снегирев	27
Роман Сенчин	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

**Олег Рой, Роман Сенчин,
Василий Аксенов, Владимир
Маканин, Родион Белецкий,
Александр Снегирев, Владимир
Сотников, Андрей Филимонов
Мужчины о любви.
Современные рассказы**

- © Белецкий Р., 2015
- © Аксенов В., наследники, 2015
- © Снегирёв А., 2015
- © Сенчин Р., 2015
- © Сотников В., 2015
- © Филимонов А., 2015
- © Маканин В., 2015
- © Резепкин О., 2015
- © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

Родион Белецкий Главная героиня

Пахло от завлита старой дачей. Передвигалась она по коридорам театра боком и голову наклоняла при разговоре, как динозавр в фильме «Парк Юрского периода».

К ее мнению никто не прислушивался. Тем более что говорила Людмила Алексеевна тихо, без желания быть понятой. Она поддакивала главному режиссеру, кивала, записывала за ним всякие глупости и была единственным человеком в театре, который никому не мешал.

Случилось так, что главный режиссер взялся ставить пьесу для молодежи. Людям вокруг было все равно. Но Людмила Алексеевна неожиданно выступила против. Она вошла в кабинет главного с экземпляром пьесы и встала возле двери, наклонив голову набок.

– Прочитали? – спросил главный.

– Да, – ответила Людмила Алексеевна.

– Напишите анонс в газету, что готовится к постановке, и так далее, ну вы знаете.

Разговор был, в общем-то, окончен. Но Людмила Алексеевна не уходила.

– Вы хотите это ставить? – спросила она неровным голосом.

– М-м, да. Хочу. – Главный, которому Людмила Алексеевна досталась по наследству от предыдущего режиссера, первый раз в жизни внимательно посмотрел на завлиту: – А что?

– Это очень плохая пьеса.

– Правда? Почему? – Режиссер уселся в кресле удобнее.

У Людмилы Алексеевны участилось дыхание. Так много захотелось ей сказать.

– Она написана безграмотным человеком. И язык, и образы. Нет ничего светлого в ней. Она банальная, с надрывом, но надрыв этот нехороший, искусственный...

Главный позволил Людмиле Алексеевне высказаться. Пока она говорила, думал, как поставить ее на место. Решил обойтись без жесткости. Как дипломат. Он мягко улыбнулся и произнес:

– Полностью разделяю ваше мнение. – Он считал себя немислимым знатоком человеческих душ. – Но пьесу эту буду ставить, только чтобы привлечь молодежь. А вы ведь знаете вкусы нынешней молодежи.

Людмила Алексеевна мелко закивала, потопталась на месте и покинула помещение.

В комнате с табличкой «завлит» всегда было душно. Форточка была забита гвоздями еще две зимы назад. Дверь Людмила Алексеевна тоже запирала. Дверь открывалась наружу. Она мешала художнику. Заносчивый и вечно недовольный, он вместе с монтировщиками таскал декорации по коридору. Декорации походили на здоровенных роботов-трансформеров, такие же сложные и бессмысленные.

Диванчик в комнате завлита был завален пьесами, пришедшими самотеком. Экземпляры были толстые, с обязательным авторским примечанием, «...желательно, чтобы постановка была осуществлена хорошим, опытным режиссером...». Людмила Алексеевна запиралась в комнате и аккуратно ела варенье.

Через два месяца после того разговора с главным у нее на столе зазвонил телефон. Это было обычным явлением. Люди, звонившие в кассу, всегда ошибались номером. Но в этот раз ошибки не было. Секретарь главного сообщила, что молодой драматург приехал и сейчас поднимается к ней, но поднимается медленно, потому что поскользнулся на льду возле служебного входа и сильно ударился локтем.

– Почему ко мне?

– Ну, вы же завлит.

Слушая гудки в трубке, Людмила Алексеевна впервые захотела поменять профессию. Ее охватила паника. Это был первый живой драматург в ее жизни. Она сняла платок со спинки стула и захотела убрать его в холодильник. Подумала и убрала, потому что холодильник все равно не работал.

Драматург Миша оказался не страшным. У него были розовые щечки, короткая стрижка и привычка незаметно грызть ногти. Он удивлялся и радовался всему на свете. Это была его первая премьера, и глаза его были распахнуты так широко, что казалось, он хочет запомнить, а потом и записать все, что случится вокруг.

На поясе в чехольчике драматург носил фотокамеру размером с сигаретную пачку.

С Людмилой Алексеевной он вел себя подчеркнуто вежливо, и не понравился ей с самого начала.

– Хотите посмотреть декорацию? – спросила она.

– Да, – согласился драматург – и тут же передумал: – Нет. Пусть это будет сюрпризом. – Миша виновато улыбнулся. – Я лучше вместе со зрителями увижу, когда занавес откроется.

Людмиле Алексеевне это тоже не понравилось.

– В вашем... в нашем спектакле занавес отсутствует, – сказала она холодно.

– Пусть. Я все равно потом посмотрю.

– Вы можете пообедать в нашем буфете. Бесплатно, – подчеркнула она.

Но Миша опять отказался. Он, видите ли, не был голоден.

– Хочу погулять по вашему замечательному городу. Я так редко куда-нибудь выезжаю.

Вряд ли он считал их город замечательным. Она прекрасно знала этих москвичей. Ее бывший муж был москвичом.

– Советую вам посетить Дом-музей Иванова, – сказала она тоном учительницы.

Наверняка он даже не знает, кто это такой.

– А кто это, Иванов? – спросил молодой драматург, улыбаясь.

Позор, а еще театральный деятель.

– Это великий артист. Современники сравнивали его с Качаловым!

– В чью пользу?

– Странная у вас манера шутить.

– Какая есть.

«Хамское поколение», – подумала Людмила Алексеевна.

Драматург отправился осматривать город, а завлит закрылась в своем кабинете и снова пробежала глазами по тексту пьесы. Без всякого сомнения, это была глупость и пошлость. Любовь молодых людей, сплошной сленг, истерики, а после смерть девушки. И называлась пьеса глупее некуда: «Сердце на роликах». На каких роликах?

Людмила Алексеевна направилась в зрительный зал. Она любила свой театр и гордилась им. Он был словно игрушечка. Как Большой театр в Москве, только во много раз меньше. Уютная сцена, крохотные бархатные ложи, блестящие номерки на подлокотниках, крашенные белой краской, приятные на ощупь деревянные панели. Тяжелый занавес, который зрителям всегда хотелось потрогать, и люстра, похожая на торт. В зале всегда было прохладно и таинственно. Здесь даже самых отъявленных циников посещало предчувствие чуда.

Она хотела сесть на свое обычное место. Если смотреть на сцену, в седьмом ряду крайнее справа, но к своему неудовольствию обнаружила, что ее кресло занято драматургом из Москвы. Он все-таки передумал, решил посмотреть репетицию. Удобно устроившись, поло-

жив ногу на ногу, он смотрел на сцену и отхлебывал из бутылочки со сладкой газированной водой.

Еще бы чипсы принес.

Людмила Алексеевна остановилась в проходе, не зная, как поступить. Просить пересечь было глупо. Четыреста девяносто три места из пятисот двух были свободны.

На сцене гремела музыка. Компания хулиганов – главных злодеев пьесы синхронно размахивала руками и широко расставляла ноги. Главный режиссер любил танцы в стиле «Юноны и Авось». В труппе это называли «захаровщиной». Подобные пляски украшали почти каждый спектакль театра. Даже «Три сестры».

Главный крикнул. Музыка остановилась. Артисты стояли на сцене и слушали замечания, переминаясь с ноги на ногу, как лошади.

Завлит решительно подошла к драматургу и встала возле него. Миша посмотрел на Людмилу Алексеевну снизу вверх, тут же вскочил и пересел на соседнее место. Людмиле Алексеевне эта торопливость понравилась. Она с удовольствием устроилась в своем кресле.

На сцене артист Зотов играл желваками, сверлил драматическим взглядом амфитеатр. У зрительниц за пятьдесят от этого взгляда немели ноги. Однако на молодого драматурга из Москвы игра Зотова не произвела впечатления. Миша некоторое время смотрел на сцену, затем с улыбкой повернулся в ее сторону:

– А это кто?

Людмила Алексеевна набрала воздуха и торжественно произнесла:

– Народный артист России, лауреат премии губернатора «Хрустальное дело» Валентин Зотов.

– По-моему, он сейчас лопнет.

Людмила Алексеевна не нашла что сказать, кроме как:

– Его очень любят наши зрители.

– Понятно.

Это «понятно» просто вывело Людмилу Алексеевну из себя.

– А у вас в пьесе нет финала. И это не только мое мнение.

На сцене грохнула музыка.

– Что?

Он сделал вид, что не расслышал.

После репетиции Людмила Алексеевна отправилась в библиотеку к своей доброй подруге Виане.

В таком спокойном месте, как библиотека, Виану охватывала паника как минимум трижды в день. Она хронически ничего не успевала и постоянно все теряла. Однажды она потеряла двухметровый торшер.

Можно было точно сказать, что Виана сидела на своем месте. Читать ей не нравилось, но она по-настоящему любила книги. Все равно что иной матери не обязательно вести с ребенком долгие беседы, чтобы любить его от всего сердца.

Людмила Алексеевна приходила к Виане поговорить о падении русской культуры. Пока она говорила, Виана занималась своими делами и могла не смотреть на подругу, но Людмила Алексеевна знала: Виана ее внимательно слушает. Умела Виана и поддакивать.

В этот раз, жалуясь на драматурга из Москвы и на его бездарную пьесу, Людмила Алексеевна была особенно красноречива:

– ...приезжает эдакий наглый, самодовольный молодчик от драматургии и начинает смеяться над авторитетами...

Людмила Алексеевна, когда нервничала, говорила тише, чем обычно, безупречно строя предложения. Ее русскому языку можно было позавидовать.

Виана переставляла книги, слушала Людмилу Алексеевну, но не соперничала, а только хихикала. Она стояла спиной к Людмиле Алексеевне, и ее попа, обтянутая штанами из подобия обивочного материала, напоминала диванную подушку. Людмила Алексеевна начала раздражаться.

– Ты ничего не понимаешь в театре, – заявила она Виане.

– Ага, не понимаю, – сказала Виана лукаво и снова хихикнула: – И в драматургах ничего не понимаю, молоденьких.

Как могут дружить люди, стоящие на разных ступенях развития?

Людмила Алексеевна ушла, холодно попрощавшись с подругой, что, кстати, рассмешило Виану еще больше.

На улице Людмила Алексеевна часто здоровалась с собаками. Она просила вежливо разрешения у хозяев, мол, можно я с вашей собачкой поговорю, потом нагибалась к животному и ласково с ним разговаривала:

– Ну кто у нас здесь такая прелесть? Кто у нас умная и красивая? Ну, здравствуй, веселая мордочка... – И так далее и тому подобное.

Вот и сейчас ей встретила симпатичная пожилая лайка, с которой она беседовала под пристальным взглядом хозяина.

Парикмахер молча наблюдала, как Людмила Алексеевна разматывала волосы, уложенные в пучок. Волосы были тонкими, и в пучке их уместилось много. Они упали на спину, и концы их, покачиваясь, остановились ниже лопаток. Людмила Алексеевна не стригла их со времен развода, только расчесывала.

– Точно отрезать? – спросила парикмахер. – Не жалко?

Людмила Алексеевна, рассматривая свое отражение в зеркале, ответила не сразу:

– Отрежьте. И прическу сделайте.

– Какую?

– Модную, пожалуйста.

Парикмахер достала перекись водорода и плавательную шапочку с рваными дырками. Модные прически делались у них по старинке.

На служебном входе театра артист Кудрявцев разговаривал с вахтером. Двумя локтями он оперся в стол, с каждым словом приближая к собеседнице свое красное, усатое лицо.

– Она умерла, понимаешь? Марусечка моя.

Жена Кудрявцева умерла почти два года назад. С тех пор он постоянно рассказывал об этом. Сначала люди сочувствовали ему, жалели, потом привыкли, а со временем успошая стала сильно всех раздражать.

– Отстань, – сказала вахтер спокойно. – Домой иди.

– Я ходил, – отвечал ей Кудрявцев серьезно. – Там еще хуже.

Мимо вахты неторопливо прошла Людмила Алексеевна с прической в стиле восьмидесятых: прямой пробор, белые мелированные перья, волосы как два крыла, залитых лаком.

– Добрый вечер. – Вежливость Людмила Алексеевна почитала выше прочих добродетелей.

Кудрявцев устало мотнул лохматой головой, мол, здрасте вам.

– Завлитша, – сказал он безо всякого выражения.

– Что это с ней? – удивилась вахтер.

– А что такое? – Кудрявцев, как нормальный мужчина, ничего не заметил.

Людмила Алексеевна уверенно шла по коридору третьего этажа. Каблуки цокали по кафельному полу.

Время от времени она замечала, что сутулится, и выпрямлялась. Но ненадолго. Она повернула за угол и увидела, что дверь ее кабинета открыта. От возмущения у завлита заложил нос.

Войдя, Людмила Алексеевна обнаружила, что драматург Миша устроился в ее кресле. Опять. Сел прямо на теплый платок, который она специально принесла из дома. Никто в театре еще не садился в ее кресло. Людмила Алексеевна недовольно прищурилась, но Миша при ее появлении сразу вскочил, ударился коленкой об стол и сел обратно. Развел руками, мол, простите, вот такой я неуклюжий.

Пускай сидит, решила Людмила Алексеевна и жестом успокоила Мишу.

Он все-таки хороший.

Завлит улыбнулась драматургу, слегка, чтобы не баловать. Но вдруг неприятный женский голос произнес:

– Выйдите отсюда. Мы работаем!

– Это вы мне говорите? – спросила Людмила Алексеевна, оборачиваясь.

– Вам, конечно.

Перед завлитом стояла маленькая брюнетка с зелеными глазами. Шерсть на ее кофте торпорила, как иголки у ежа. Людмила Алексеевна смерила девушку взглядом. Она была ей не соперница.

– Что вы делаете в моем кабинете?

Брюнетка не сбавила обороты. Ответила с вызовом, сохраняя на лице особенное выражение, словно она из последних сил сдерживает улыбку.

– Мне дали ключи на вахте. Я беру интервью, и вы нам мешаете.

Ах ты дрянь наглая.

– Меня никто об этом не предупредил. Михаил может остаться, а вас я не знаю. До свидания.

Брюнетка такого ответа не ожидала.

– Я из газеты «Водоканал».

Людмила Алексеевна молча расстегивала пальто, неторопливо, пуговица за пуговицей, как хозяйка положения.

– Вам что, не нужен пиар? – спросила брюнетка.

– Такой. Не нужен.

Людмила Алексеевна знала, что такое убийственная вежливость.

– Прошу простить, но у меня здесь ценные бумаги, договоры, а с вахтером, который выдает ключи кому не следует, поговорю.

Брюнетка покачала головой.

– Пойдемте в фойе, – сказала она Мише.

– Хорошо, – ответил он кротко.

Когда они вышли, Людмила Алексеевна хотела закрыть дверь, но решила не делать этого. Даже распахнула дверь еще сильнее, так, чтобы та заняла половину коридора.

Пусть художник лопнет от злости.

Затем она принялась открывать забитое гвоздями окно. Ей срочно нужен был свежий воздух. Рывок. Окно поддалось.

Сквозняк смахнул со стола бумаги. Дверь захлопнулась, словно кто-то выстрелил ей в спину.

Вахтер разнесла новость по всему театру:

– Завлитша-то замуж собралась.

По меткому выражению артиста Кудрявцева, «Людмила себе свисток намундолила».

По коридору мимо кабинета начали ходить артисты и заглядывать в открытую дверь. Людмила Алексеевна заметила, что за ней наблюдают, и выдвинула стол вперед, чтобы хорошенько рассмотрели.

Количество визитеров резко увеличилось. Даже художник пришел посмотреть на Людмилу Алексеевну.

Нервно мигая, с черной челкой, разделяющей лицо на две половины, он встал в дверном проеме, а потом постучал по косяку узловатыми пальцами.

– Что вам угодно? – спросила Людмила Алексеевна.

Художник замычал, запыхтел, сказал, что он за степлером, степлера не взял и вышел.

Людмила Алексеевна почувствовала себя так хорошо, что у нее запершило в горле. Она закашлялась, элегантно прикрыв рот ладонью.

Премьеру назначили на следующий день. А этим вечером Людмила Алексеевна была приглашена в кабинет главного, на ужин для своих: главный, драматург, художник, директор Камиль Маратович и она. Это было и неожиданно, и как-то в порядке вещей. Словно начал сбываться давно заготовленный план по исправлению ее жизни. Она стала элитой театра. И все произошло как-то само собой.

В кабинете секретарша главного выключила верхний свет, и ужин проходил при яркой настольной лампе с красным абажуром.

При полусвете члены руководства казались очень приятными людьми.

Выяснилось, что Миша умеет петь песни. Голос у него был сильный, а манера подачи необычная. Он с фальшивым усилением брал самые высокие ноты и неожиданно обрывал их, делая звуком запятые в воздухе. И слушатель никогда не ожидал этого.

Людмила Алексеевна сидела в сторонке и слушала Мишино пение с замиранием сердца. Разглядывала гитарную деку, чтобы не встретиться с Мишей взглядом.

А утром она обнаружила молодого драматурга у себя в кабинете. Он спал на ее диванчике. Пьесы графоманов были скинуты на пол, стопки расплзлись веером. У спящего было серьезное лицо, словно он с плотно закрытыми глазами выслушивал важные новости.

Окно было распахнуто настежь, в морозном воздухе висел запах алкоголя, легкий и приятный.

Людмила Алексеевна посмотрела на Мишу и задала себе классический вопрос:

Будить или не будить?

Но Миша проснулся сам. Резко, словно по приказу. Сел и сразу заговорил деловым тоном, подробно объясняя, почему он здесь оказался, словно и не спал секунду назад. Он перешел сюда из комнатки за сценой, куда поселил его экономный Камиль Маратович.

– Я не мог там спать, – говорил он, сидя на диванчике и разминая шею. – Там нет окон. Там фотообои по стенам, березки. И душно очень. Я пошел вниз, взял ключ. А здесь у вас свежо, окно открыто. Извините.

– Ничего страшного.

– Да? – Миша улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. – А я боялся, вы ругаться будете.

Людмила Алексеевна поняла, что пропала.

В столовой буфетчица сказала Людмиле Алексеевне, что драматург вместе с артистом Зверевым, исполнявшим в спектакле роль хулигана, всю ночь ездил по саунам и другим значным местам. Она почувствовала себя нехорошо, сжала губы почти что в точку и промолчала.

– Зверев пистон от жены получил уже, – сообщила буфетчица.

Людмилу Алексеевну мало тревожила судьба Зверева. С одинокой тарелкой на подносе она отошла от стойки. Сидела после за столом с абсолютно прямой спиной и переживала предательство. Рисовая каша на молоке осталась нетронутой.

Кому можно верить?

Когда артисты театра репетировали пьесу, они на время репетиций начинали разговаривать репликами из спектакля. Людмиле Алексеевне эта манера не нравилась.

Неужели нельзя найти своих слов?

Но теперь она сама шагала по коридору и еле слышно повторяла реплику из какой-то французской комедии: «Ангельская внешность, черная душа; ангельская внешность, черная душа; ангельская внешность, черная душа; ангельская внешность, черная душа...» – и так бесконечно.

Людмила Алексеевна внезапно остановилась, не дойдя до кабинета.

Ангельская внешность, черная душа... Что за ерунда?

И правда, подумала она, кому можно верить? Неопрятной бабе-буфетчице, интриганке и сплетнице?

Когда Людмила Алексеевна улыбалась, она становилась беззащитной и выглядела старше своих лет. Улыбалась Людмила Алексеевна редко и улыбки своей стеснялась. Но в коридоре она была одна.

Внезапно молодой голос произнес:

– Людмила Алексеевна.

Завлит стала строгой.

– Как вы себя чувствуете?

– Честно говоря, не очень. Хотел сходить в музей Иванова. Я же успею?

– Конечно, – оживилась Людмила Алексеевна. – До премьеры еще масса времени.

Хотите, я вас провожу?

«Что я делаю?» – подумала она.

Вышли на улицу.

Драматург Миша, несмотря на похмелье, держался молодцом.

– Вот здесь я тогда свалился, – сказал он, показывая пальцем на длинную полоску льда.

По дороге Миша улыбался, старался не дышать в ее сторону и голову нес осторожно, поворачивал ее к собеседнику медленно и печально, и это было очень заметно.

Пьяных Людмила Алексеевна по роду службы видела чаще, нежели трезвых. Привыкла к ним, не осуждала, приводила в чувство и сажала в такси.

Но Мишино пьянство ее сильно расстроило. Она подумала, что зря он связался с театром. Такой молодой, неопытный. Это ему навредит. С годами раздастся в поясе, покраснеет, оплывет лицом, отрастит бороду, наденет очки и станет записным драмателем, пропитым и циничным. И будет сочинять обязательно про деревню. Такие только про деревню пишут. Людмиле Алексеевне очень не хотелось подобного будущего для Миши.

Она предложила ему таблетку от головной боли. Миша взял сразу две, разжевал их тут же, на морозе, не запивая. Через какое-то время, слава Богу, повеселел, начал жестиковать.

По дороге в музей артиста Иванова им встретился мужчина, ведущий на поводке сутулую и жизнерадостную собаку. Людмила Алексеевна поздоровалась с собакой, как это она обычно делала, сказала животному несколько теплых слов и пошла дальше.

– А с хозяином вы почему не поговорили? – вдруг спросил Миша.

– Что? – не поняла Людмила Алексеевна.

– То есть вы к животному, как к человеку, обращаетесь, а хозяйина ее даже не замечаете.
Так?

Людмила Алексеевна только теперь поняла, что на нее нападают:

– Мы с ним не знакомы. А чем вы, собственно, недовольны?

– Выходит так, что люди вашего внимания недостойны.

Миша смотрел ей прямо в глаза, и она не могла разобрать, шутит он или нет.

Видимо, прошла голова.

– Перестаньте, – сказала она. – Я общаюсь с теми, с кем считаю нужным.

Миша в ответ театрально хмыкнул, видимо, не зная, что еще сказать.

Зря я ему дала таблетку. Только злой стал.

В музее Миша предложил ей взять его под руку. Просто подставил свою руку колечком. Она оперлась, и Миша повел ее по залам. Старинная мебель, тусклые зеркала на стенах, скрипучий паркет. Людмиле Алексеевне ненадолго показалось, что ее ведут на бал, что сейчас откроются невысокие двустворчатые двери и их встретит шумная толпа. Мужчины с интересом посмотрят на нее, а женщины специально отвернутся и станут ей завидовать, нервно обмахиваясь веерами.

– Девушка, – слышался грубый голос музейной работницы, – за ленточки заходить нельзя.

– Извините, – сказала Людмила Алексеевна и расплылась в улыбке.

Девушка! Девушка! Девушка!

По дороге в театр она улыбалась без стеснения.

Спектакль получился с размахом. Зрители увидели настоящий каток, по которому дергались цветные пятна. Для местного зрителя это было ново. Раздались аплодисменты. Артисты забегали, закричали. Действие началось.

Драматург попросил себе место с края, возле прохода, словно собирался сбежать с собственной постановки. Вскоре после начала он достал фотоаппарат и принялся делать снимки, ослепляя вспышкой артистов и зрителей.

Главный заметил вспышки и послал Людмилу Алексеевну к Мише сказать, чтобы тот убрал фотокамеру. Она подчинилась. Пошла, согнувшись в три погибели, а потом и вовсе передвигаясь на корточках, чтобы не мешать зрителям. Добралась и тронула Мишу за плечо. Он смешно дернулся, испугавшись, и обернулся. Увидев ее, тепло улыбнулся. Людмила Алексеевна, сидевшая на корточках, покачнулась и чуть не завалилась назад. Миша вовремя схватил ее за руку и так и не отпустил в течение всего разговора.

– Снимать нельзя.

– Что? – переспросил Миша.

– Фотографировать нельзя.

– Почему?

– Это запрещено.

– А почему? – не унимался Миша.

– Главный не разрешает, – сказала Людмила Алексеевна громко, практически рявкнула. Да так, что зрители слева от Миши обернулись и посмотрели на завлита неодобрительно, как умеют смотреть только в провинции.

Людмиле Алексеевне показалось, что Миша расстроен, обижен приказом главного, но вида он не подал, отчего она сама расстроилась, почувствовала, что она во всем виновата. Миша, отпустив ее руку, аккуратно убрал фотокамеру в чехольчик, а чехольчик пристегнул к поясу. Ни слова ей не сказав, он отвернулся и стал смотреть на сцену. Людмила Алексеевна

посидела немного на корточках из вежливости возле его кресла и утиным шагом пошла к выходу.

В предпоследнем ряду партера на приставном стуле сидела та самая брюнетка-корреспондент. Она бросила на Людмилу Алексеевну насмешливый взгляд. Завлит быстро встала и мило улыбнулась наглой девушке.

Покинув зал, Людмила Алексеевна направилась к билетерше:

– Почему у вас зрители посреди прохода сидят?

– Так аншлаг, просили стульчик.

– Вот директору будете это потом объяснять. Вы спектакль срываете. У артистов половина выходов через зал.

Билетерша побежала освобождать проход.

Во время антракта, как правило, Людмила Алексеевна ходила в мужской туалет и выгоняла оттуда курящих школьников. Это была ее обязанность. Однажды ее попросил об этом директор Камиль Маратович, и с тех пор это стало ее обязанностью.

Школьники тихо матерились, бросали сигареты в унитазы и шли досматривать постановку. А Людмила Алексеевна чувствовала себя нужной.

Распахнув дверь туалета, Людмила Алексеевна по-хозяйски вошла в уборную. Драматург Миша стоял с сигаретой в руке. Он испугался ее появления не меньше подростков, ибо вид Людмила Алексеевна имела решительный.

– Извините, – сказала Людмила Алексеевна, остановившись.

– Это вы меня извините, – сказал Миша.

– У вас сигарета упала.

Миша улыбнулся:

– Это я ее выбросил. По школьной привычке, знаете.

Миша тихо засмеялся и тряхнул головой.

– Голова все еще болит?

– Я нервничаю, – сказал драматург. – У гардероба сейчас дежурил. Смотрел, как зрители уходят.

– Не стоит переживать.

– Не могу. Как будто экзамен сдаю.

У Людмилы Алексеевны защипало глаза, то ли от чувств, то ли от хлорки.

– Там еще несколько человек стояли, с номерками, когда я уходил.

– Они просто выйдут покурить и вернуться.

– Вы уверены?

– Конечно. Не волнуйтесь. Спектакль публике нравится. Она живо реагирует. Хлопает.

Людмила Алексеевна хотела положить Мише руку на плечо, но передумала и еще раз повторила:

– Не волнуйтесь.

– Ладно. Не буду, – улыбнулся Миша.

Когда они выходили из туалета, увидели зрителей, выстроившихся в очередь. Людмила Алексеевна услышала, как отец сказал своему долговязому сыну:

– Хрен мы с тобой в театр еще пойдем.

Второй акт Людмила Алексеевна смотрела сидя на балконе. После начала действия она загнала двух задумчивых подростков обратно в зал, а сама поднялась наверх.

Спектакль шел своим чередом, а она смотрела на сцену, но занята была своими мыслями. Людмила Алексеевна впервые подумала о своем бывшем муже без сочувствия. Только сейчас в ней созрело и определилось презрение к этому бесполезному и недалекому чело-

веку. И хотя она всегда говорила ему, что считаться нехорошо, ей сейчас захотелось посчитаться.

Он был виноват во всем, а не она. Только он. Ну, может быть, еще виновата его мама.

Муж-актер – это кентавр. Половина говорит человеческим голосом, а вторая половина больно лягается. Когда она жила с ним, театр был везде, повсюду. Границы театра словно расширились, и она просыпалась сразу в театре. А он, кстати, поначалу с ней расцвел. Роль Горацио ему дали. Она же ходила словно в дурном сне и успокаивала его, успокаивала, успокаивала его без конца. Ну и еще, конечно, хвалила.

А он все равно спился и вернулся к маме в Москву. Переехав, он, кстати, сразу бросил водку, словно и не было этих пьяных лет. Мама, значит, лучше. Бывшую свекровь и вспоминать не хотелось. Двухметровая женщина-гренадер с манерами киношной Золушки.

Людмила Алексеевна отвлеклась от своих мыслей, потому что заметила, что в зале установилась тишина. Публика смотрела на сцену. Там главный герой держал свою любимую на руках. Только что любимая умерла, сбита грузовиком, и ноги любимой грустно свисали под тяжестью роликов.

Мгновение – и зал взорвался аплодисментами. Любимая на руках у главного героя ожила и широко улыбнулась.

Это был совершенный успех. Зрители молодые и старые вставали, продолжая сильно хлопать в ладоши, словно соревнуясь друг с другом.

Артисты на сцене покраснели от удовольствия. Они выходили кланяться бесчисленное количество раз и решили уже не бегать туда-сюда, а остановились на авансцене, и актрисы зажимали рты руками, словно хотели плакать и сдерживались из последних сил.

Появился главный. Он встал в центре сцены и слегка расставил руки в стороны, как победитель, прощающий толпу за ее недостойное поведение. После он жестом позвал Мишу.

Людмила Алексеевна бросилась к краю балкона и проследила весь путь драматурга от места до сцены.

Миша неумело поклонился, щурясь от яркого света, и с пояса у него упал фотоаппарат. Зрители засмеялись. Людмила Алексеевна шепотом назвала публику дураками и принялась рукоплескать, стараясь не попадать в ритм хлопков большинства. Это увлекло ее, и она первый раз в жизни произвольно крикнула «Браво». Ее неожиданно низкий голос на секунду заглушил остальные крики восторга.

Людмила Алексеевна быстро шла по фойе, глазами отыскивая Мишу. Она хотела поздравить его с премьерой и вручить букет. Деньги на цветы дал директор, но можно было об этом Михаилу не говорить. Просто подарить и... Людмила Алексеевна потом хотела позвать Мишу к себе в кабинет. Выпить, может быть, чаю. А после как пойдет.

Для начала она приготовила небольшую речь, которая начиналась со слов: «Что ни говори, а современная пьеса имеет своих поклонников...»

Она увидела Мишу издалека. Драматург подписывал злобной брюнетке-корреспондентке программку. Получив автограф, та быстро встала на цыпочки и поцеловала Мишу в щеку очень близко к губам.

Людмила Алексеевна остановилась. Букет в ее руке перевернулся и повис бутонами вниз.

Брюнетка засмеялась. Смех громкий и раздражающий не подходил ей. Хах-хах-хах... Смех был натужный, мужской, наглый. Хах...

Людмила Алексеевна развернулась и решительно пошла в обратную сторону. Миша догнал ее.

– Вот вам букет, – холодно сказала Людмила Алексеевна, остановившись.

– Спасибо.

– Не за что. Это не от меня. Дирекция просила купить. Я могу идти?

Миша понял ее строгость по-своему:

– Вам не понравился спектакль?

– Не в этом дело.

Драматург не поверил, он расстроился, уголки глаз опустились вниз, как у грустного бульдожки. Видя это, Людмиле Алексеевне захотелось говорить ему только хорошее:

– Мне очень понравилось.

– Правда?

– Конечно. Вы же знаете, главное не «как», а «что», и вы сделали самое главное. – Людмила Алексеевна поправила прическу. – Вы рассказали о любви, пусть несовершенным, своим языком, но суть от этого не меняется. Какой бы ни был человек, старый, молодой, умный, глупый, если его любят, он сразу это почувствует. Это прекрасно – то, что вы написали.

Миша в порыве чувств бросился к завлиту, крепко обнял и поцеловал ее в обе щеки. Для Людмилы Алексеевны в этот момент остановилось время, она словно оказалась в безвоздушном пространстве. Родной театр, как огромная ракета, рывком оторвался от земли и набрал бешеную скорость, а она зависла в невесомости, переживая краткий миг абсолютного счастья и восторга.

На капустник и банкет Людмила Алексеевна надела особенные сережки, в форме колец. Кольца касались плеч. В них она себе очень нравилась. Удачно, что дырочки в ушах не успели зарости.

Капустники играли в репетиционном зале.

Сначала всегда брал слово главный режиссер. Так было и в этот раз. Смешную речь он приготовил заранее. Состояла она из многозначительных намеков, которых труппа не понимала, но усердно смеялась.

После молодые артисты, мужчины, те, кто играл в пьесе «Сердце на роликах», выскочили на сцену в огромных подгузниках. Номер назывался «Младенцы на прогулке». Дрались погремущками, угукали, а под конец хором разревелись.

Людмила Алексеевна веселилась от души, хотя видела эту миниатюру не один раз. Драматург из Москвы сидел рядом, она чувствовала это.

Когда младенцы начали стучаться лбами, Людмила Алексеевна непроизвольно хрюкнула от смеха и быстро прикрыла рот рукой.

После артисты Кудрявцев и Зотов спели под гитару песню о театре. Далее Зотов остался на сцене и читал Ивана Бунина, следом за ним выступила актриса-травести Крапекина с отрывком из «Маленького принца», и на глазах у нее появились привычные слезы.

Директор Камиль Маратович уснул в кресле, как это бывало на всех капустниках, и его разбудил один из выступавших, что привычно рассмешило всех присутствующих. И все было как обычно, знакомые номера и шутки, семейная атмосфера. А потом показали ее.

Артист Зверев вбежал на сцену в женском платье и начал кривляться. Людмила Алексеевна поначалу ничего не поняла.

Что это за женщина в дурацком парике и с нервным тиком?

Зверев, поправляя накладной бюст, отыскал в зале драматурга Мишу и начал строить ему глазки. Миша стал подыгрывать Звереву. Даже поцеловал тому ручку.

Труппа смеялась дружно и громко. Повернув головы, бросали взгляды на Людмилу Алексеевну, мол, интересно, как она реагирует. Прототип был в шоке. Миша повернулся и встретился с Людмилой Алексеевной взглядом. Он приподнял брови, пожал плечами, как бы

говоря: что поделаешь, такие вот глупые шутки. Для Людмилы Алексеевны этого человека больше не существовало.

Она хотела кинуться прочь из зала, но заставила себя досидеть до конца капустника. В глазах двоилось и троилось, она смаргивала слезы, которые снова появлялись, и она опять, рывками вдыхая в себя воздух, одной силой воли пыталась прекратить предательский плач.

Как же может быть больно человеку. Животное от такой боли крутится волчком, визжит, бросается на своих, бежит незнамо куда сломя голову. А человек сидит и смотрит представление в компании мучителей и даже иногда улыбается.

Все закончилось около двенадцати ночи. На улице медленно падал снег. Площадь перед театром словно заросла белым мхом. Редкие черные фигуры проходили мимо по дорожкам, но никак не могли почему-то скрыться за поворотом, словно шагали на месте.

Людмила Алексеевна постояла под козырьком служебного подъезда, сделала шаг, второй и поскользнулась на черной полоске льда. Она резко всплеснула руками, как делала, когда чем-то восхищалась, и тяжело упала на лед.

Людмила Алексеевна сломала ногу. Пролежала дома до начала весны. Выздоровела. В театр на работу больше не пошла.

Трудовую книжку за нее забрала Виана.

А в начале мая Людмила Алексеевна купила себе собаку.

Спектакль «Сердце на роликах» с успехом шел два сезона и был снят, потому что исполнители главных ролей перестали походить на подростков.

Василий Аксенов Миллион разлук

Рассказ иронический, с преувеличениями

– Жить и видеть, – бубнил себе под нос Эдуард Толпечня, шаг за шагом, по-стариковски – руки за спину – поднимаясь в гору горбатой улочкой среди сугробов, стараясь потверже поставить ногу в ботинке, похожем на крепкий, надежный автомобиль.

– Жить и видеть! – гаркнул он вдруг неожиданно для себя и огляделся с вызовом, словно кто-то убеждал его не жить и не видеть, словно фраза эта, этот девиз были для него итогом какого-то давнего спора. На самом деле не было никакого спора, не было никакого вызова и никакой проблемы – слова эти топтались во рту без всякого смысла, и были они разной длины оттого, что один шаг по обледенелой ступеньке был короткий, а другой – чуть подлиннее.

Нашелся, видите ли, философ! Пристыженный Толпечня сунул в рот сигарету, чиркнул зажигалкой. Никто его, к счастью, не слышал. За витыми решетками заборов, за сугробами не видно было ни души. Он двинулся дальше, и рот его, занятый теперь вирджинской вонючкой, уже ничего не бормотал, но в голове все так же медленно, неумолимо поворачивались фанерные шестеренки: «жить и видеть», «жить и видеть»...

Шапки молочного снега лежали на коньках крыш, на козырьках калиток. Святой Августин у ближайшего крохотного фонтанчика украсился странноватой тиарой, ветви сливовых деревьев под тяжестью снега перегнулись через заборы, образовав над тропинкой-лесенкой сентиментальные девственные полуарки. И никого не было на этой крутой, ведущей к замку принца Альбрехта улочке, и не слышно было ни звука, даже непонятно было, кто же чистил столь аккуратную тропинку среди сугробов, и уже совсем нельзя было представить, что недавно внизу по Кенигштрассе, разбрызгивая коричневую снегогрязь, катят бесконечные «фольксвагены», «ситроены» и «фиаты».

Впереди закрипели петли, и, отодвинув чугунную калитку белой лапой, на тропинку вышел и встал лицом к чужеземцу выдающийся сенбернар. Пес, пожалуй, был по грудь рослому Толпечне, а голова его, рыже-белая меховая голова, пожалуй, была вдвое больше средней человеческой головы, а глаза его по размеру приближались к лошадиным глазам, пожалуй. Пес смотрел на незнакомого пешехода с серьезным, вдумчивым любопытством умного подростка.

– Гутен таг, – растерянно пробормотал Толпечня. Сворачивать было некуда, ретироваться глупо, он остановился в двух шагах от пса и приподнял кепи.

– Я Эдуард Толпечня. Возможно, видели меня на экране телевизора?

Пес посторонился, чтобы дать ему пройти, немного даже лег боком на сугроб. Толпечня хотел было его погладить, но подумал, что это глупо. Все равно что погладить корректного господина на Кенигштрассе. Он прошел мимо и, сделав шагов двадцать, оглянулся. Пес глядел ему вслед с прежним вежливым любопытством. «Какой славный! – подумал Толпечня. – Хорошо бы иметь в приятелях такого мохнатого силача с сильно развитым спасательным инстинктом».

После очередного крутого завитка улочка вдруг кончилась, замок утонул по самые шпили за каким-то снежным горбом. Но зато перед глазами иностранца открылся огромный, открытый солнцу и ослепляющий Тироле, цепь вершин и резкие тени, выпуклости глетчеров, а ниже оранжевые пятна дереvушек, а еще ниже изгибы дорог, и нити ропуэа с яркими

букашками кабин, и щеки слаломных трасс, а совсем внизу прямо под ногами выплывающее из синей тьмы барокко старого Брука.

«Жить и видеть! – подумал Толпечня. – Жить всем телом! Лететь всем телом! Болеть всем телом! Любить всем телом! И видеть каждой порой весь засыпанный чистым снегом мир со всеми его скатами для разгона, со всем его голубоватым небом для полетов и видеть ее, ту женщину, где бы она ни была, напряженно и ежеминутно помнить ее, не бороться с тоской, всем телом отдаваться тоске, потому что я никто без той женщины, без нее я даже не летун».

Толпечня вспомнил магазин «Кулинария» на улице Горького. Там в закутке был когда-то кафетерий, шумная, беспокойная точка нарпита, где тебе наступают на ноги и норовят облить кофе или бульоном. Он стоял вплотную к стеклу с чашкой и пирожком и смотрел на улицу, где в тени швартовался троллейбус. Это ее трол, он знал безошибочно. И точно: облагороженный ею трол раскрывал свое нутро, и она выпрыгивала, она выходила из тени на солнечный перекресток и шла к «Кулинарии» своей походкой примадонны. Ему показалось, что она идет с закрытыми глазами и без единой мысли под ореолом спутанных и летящих волос. – В – блаженном – безмыслии – на – свидание – для – любви.

Толпечня тогда тоже закрыл глаза, и по его плечевому поясу прошел ток слабого напряжения, а вскоре он почувствовал, как ее пальцы прикоснулись к его затылку.

– Осторожно, я бульон, – сдавленно пробормотал он.

– Что такое вы придумал? – прохладный ее смех.

– Я бульон в вас, – Толпечня повернулся и протянул ей чашку и надкусанный пирожок.

– Со вчерашнего дня не ела, – проговорила она, опуская лицо к чашке и округляя глаза.

Тяжелые мраморные львы лежали на крыше казино Мар-дель-Оро. Длинный ряд львов в одинаковых царственных позах со злыми глазами, устремленными в океан, и с тяжелыми лицами, будто бы вылепленными самой лепрой.

Алиса стояла на набережной и смотрела на львов, запрокинув голову. Они вызывали в ней глухое раздражение и не очень понятную досаду. Они были не на месте здесь, в легкомысленном, одуревшем от жары, похоти и от легкого южного алкоголя Мар-дель-Оро. Тем более они были неуместны на крыше курортного казино. Да и само это здание с его монументальностью, с его державной угрозой мало напоминало курортные казино, где шла дурацкая мелкая игра, где никогда не совершались драматические события, а просто выгробалась мелочишка из карманов гуляк.

Должно быть, это несоответствие и раздражало Алису, но прежде, проезжая мимо казино на концерт, она никогда не вглядывалась в сумрачное глухо-угрожающее здание, а просто скользила по нему взглядом и, почувствовав мимолетную тоску, чуть сильнее нажимала на педаль акселератора. Сегодня у нее был первый свободный день за все время южно-американского турне, и она с утра все думала о том человеке, проснулась с мыслью о нем и вновь задремала уже с ним в утренней тяжести, наполненной его присутствием. Присутствие его в конце концов стало настолько острым, что она проснулась окончательно со счастливым смехом и тут наконец поняла, что его с ней нет; она одна на влажной простыне, а он сейчас, конечно, за тридевять земель, в Северном полушарии, летит, раскрыв руки, в трескучем небе.

За завтраком она просмотрела столичную большую газету и нашла в ее недрах свой портретик и несколько строк о том, что гастролирующая сейчас в стране Алиса Крылова «пленяет публику Мар-дель-Оро своей изысканной кантиленой и глубоким проникновением в музыку Ренессанса». Почему-то и эта стандартная высокопарность раздражала ее, и она вышла из отеля в дурном настроении.

Она ждала выходного дня с нетерпением и собиралась на своем прокатном автомобильчике укатить куда-нибудь на далекий пляж и там лежать в одиночестве до темноты и

думать о Толпечне. Однако она прошла мимо паркинга и оказалась на набережной перед зданием казино в густой толпе почти голых людей.

Она засунула пальцы за пояс джинсов и пошла по набережной с независимым и злым видом, косо поглядывая вверх на гривастых стражей имперского лепрозория.

Что же это? Все вокруг в это утро угнетало ее – и веселые голыши за столиками бесконечных кафе, и рекламные бутылки аперитивов, болтающиеся в море за полосой прибоя, и белоснежные отели вдоль набережной... И тут еще вдруг нахлынул шквал рок-н-ролла, и появилась шестерка цирковых лошадей с султанами, влекущая королевскую золоченую карету, на крыше которой дергалась девица в «бикини».

Толпа взревела, узнав любимицу свою, этот символ наслаждения, триумф жизни, ля бомбу сексуале, миражную телемечту. Впереди кареты и по бокам двигались ошкетинившиеся оптикой грузовички, а сзади нависал операторский кран, и голые ступни оператора дергались, словно в припадке. Девица в экстазе воздевала к небу руки с флакончиком лосьона «Мария Стюарт» и крема «Биототаль».

И вот они проехали, и вдруг наступила тишина, процессия словно подмела набережную, всех утащила за собой, даже инвалидов в колясках, и на пустом асфальте перед Алисой оказался один лишь старичок с шарманкой и попугаем, немислимый призрак прошлого века.

– Тайны вашей жизни. Мистерии. Магия. Фатум, – безнадежно бормотал замшевыми губами неудачливый конкистадор явно славянского происхождения.

– Сеньорита, перфавор! – проскрежетал, взъерошив перышки на лысеющей голове, его старый друг, неудачник птичьего полета.

Алиса протянула старичку песо, и тот, вначале растерявшись от нежданной везухи, спросил профессиональным тоном:

– Сеньорита архентино, нортамерикано, аллемано?

– Руссо, – сказала Алиса.

– Руссо? – В левом глазу старичка зажегся далекий керосиновый огонек. – Пшепрашем, пани, возможен компликацион. Алоиз! – закричал он попугаю, словно тот был туговат на ухо. – Сеньорита руссо! Ты слышишь меня? Руссо, Алоиз, руссо!

– Сеньорита руссо! – с удовольствием проскрипел попугай. Запрыгал вдоль ящичка с билетиками, клюнул, вытащил розовый билетик и, оттопырив крылышко, повернулся к Алисе. Она развернула билетик и с удивлением прочла:

Когда в жизни будут злые силы
Угнетать, душою теребя,
Пусть к тебе приедет друг твой милый,
Обогреет пылко и любя.

– Фантастика! – воскликнула весело Алиса. – Нет, это просто потрясающе! Как на Тишинском рынке после войны.

Она захлопала в ладоши, даже запрыгала, протянула старичку еще песо и тут заметила, что он плачет.

– Умный фогель, – бормотал старичок, засовывая палец под крыло попугаю. – Старый амиго. Брависсимо, Алоиз!

Нечто подобное музыке – неизбывная жалость к старичку, к старой лысеющей птице, ко всему смертному и живому, запах талого снега и голые ветви лип, стихи из розового билетика, воспоминание о сумерках на улице Герцена – все это и что-то еще не названное, не разгаданное, подобное музыке, тронуло сердце Алисы, когда она стала спускаться по лестнице к пылающему и шумному океану.

Она вспомнила, как шла в тех сумерках из нотного магазина и увидела Толпечню на условленном месте возле шашлычной.

Великий спортсмен и летучий человек явно нервничал, томился, заглядывал в окно, за которым безмятежно пировали такие же, как он, великие спортсмены. Она задержала шаги и даже как бы спряталась за фонарем. Толпечня вынул из кармана часы, посмотрел на них, потом спросил, который час, у прохожего, подкрутил свой брегет, нервно поиграл цепочкой, рванул, порвал, чертыхнулся, сунул в карман, сделал было шаг в сторону, но остался...

Это было второе их свидание, и он еще не знал, какая она – «в порядке» или не очень. Она смотрела на него издали равнодушно, тоже что-то взвешивая, словно первого безумного свидания у них и не было. Не повернуть ли назад к Консерватории? Подумаешь, красноречий верзила, мало ли таких? Считаю до десяти. Если он почувствует мой взгляд, тогда... Он почувствовал ее взгляд на счете восемь и сразу позабыл все свои сомнения, а она вдруг почувствовала, как на горле под подбородком у нее возник электрический очажок и струйка от него поползла вниз, между ключицами, по средостению, к животу.

– Я думал, что вы не придешь, – пробормотал он.

– И вы был рад? – лукаво засмеялась она.

В Исландию он попал впервые, и здесь его поразило то, что всех иностранцев поражает и пленяет в Исландии: близость природы, близость сокрушительных, необузданных сил. В Рейкьявике почти с любого места вы видите океан, холодный и грозный, или горы, пустые, отчужденные, ничем как бы не связанные с людьми.

Толпечня шел по улице и сквозь густой снегопад видел эти горы и темную массу гудящего океана, а в конце улицы возвышался серый борт парохода, маячили желтая грузовая стрела и парень в ярко-красном анорাকে под этой стрелой. Снег, снег, снег валил с неба, катастрофически засыпал утлую столицу северных людей, всех этих бесфамильных «сонов», румяных верзил с детскими глазами.

Снежная прибыль, как всегда, веселила Толпечню, снежного человека, он знал, что снег не мешает его полетам, со снегом он был в своих отношениях, а Родина, Москва, если уж и снилась ему когда-нибудь в его гастрольных ночах, то всегда представляла перед ним в снегу, и это были счастливые сны. После снега во сне он твердо знал, что наутро все сладится.

Сегодня на почтамте Рейкьявика он получил письмо от Алисы, длинный конверт, прилетевший из Южного полушария, и в нем розовый билетик с какими-то смешными базарными стишками и профилем попугая, нарисованным ее рукой. «Я купаюсь, я мокрая, это не слезы, а морская вода», – накорябано было вокруг чернильного пятнышка. Мокрая Алиса, волосы закручены в кукиш на затылке, худая шея с ложбинкой, торчащие ключицы. Острое плечико поднято, капли на коже – сон, снег, купание, происхождение мечты...

В маленьком, уютном холле гостиницы возле камина под утварью, приплывшей в наше время из исландских саг, Толпечню ждали три корреспондента спортивных газет: американка, немец и датчанин.

– Хелло, «реактивный» мистер Джет! – сказала американка. – У тебя счастливый вид. Должно быть, собираешься завтра сигануть дальше всех?

Толпечня впервые видел эту американку, в костюме «Дальний Запад» и с длинными патлами ниже плеч. Впрочем, он уже привык, что западные журналисты разговаривают со спортсменами запанибрата, такова традиция, и ничего тут не поделаешь.

Он сел в кресло и принял из рук портье чашку горячего чая.

– Я в отличной форме, сэр, – сказал он американке.

Та сделала паркером закорючку в блокноте и, прищурившись, уставилась на Толпечню, словно перед ней скаковая лошадь.

– Как твое полное имя, Джет?

– Эдуард Аполлинариевич Толпечня, сэр, – любезно поклонился ей знаменитый летун.

– С ума сойти, – пробормотал датчанин, попытался записать полное имя летуна и махнул рукой.

– А на покой не собираешься? – спросила американка.

– В небе места много, сэр, – сказал Толпечня. – Я не мешаю молодым летать, а разбег и толчок занимают считанные секунды, сэр.

– Какая я вам к черту «сэр»? – наконец возмутилась американка.

Летун тут же встал и поспешно откланялся. Корреспондентка напоминала ему Алису, вульгарный вариант той же породы.

...На конверте из Южного полушария был штамп гостиницы. Толпечня с конвертом в руке прямо от двери своего номера прыгнул на кровать и в прыжке еще умудрился снять телефонную трубку.

Еще летаем, хе-хе. Какое мне дело до молодежи? Если мне пока летается, почему не летать? Если люди в разных странах хотят смотреть на мои полеты, почему же мне им не показывать их? А на горах места хватит, и в воздухе тем более. Еще стоит в вечном мраке, в антарктическом антраците закованный в черный лед таинственный Эребус. Вот там бы прыгнуть! Возьму с собой Алису на черный Эребус, куплю Алисе рису и карамельных бус, построю там зимовку и запасу шамовку...

– Сэр? – услышал он в трубке призыв телефонистки.

– Мне нужно заказать Мар-дель-Оро.

– Мар-дель-Оро! Это на другом конце света, сэр.

– Не так уже далеко, мисс. Попробуйте.

Было это или не было? В такой же снежный день, в такой же слепящий снегопад Алиса в рыжей шубе мелькала перед витриной гастронома на площади Восстания, высматривая что повкуснее, а он подъехал в своей таратайке, поставил ее в ряд машин между огромным старинным ЗИЛом и иномаркой и долго, около минуты, наблюдал щемящие сердце беспорядочные, трогательные ее движения: рывком открывается сумочка, туда влезает нос, волосы падают на сумку, кошелек в снег, сумка захлопывается, падают перчатки, беззвучное чертыхание, порыв к витрине, возврат к кошельку...

Почему же двери сами не открываются перед божеством? Неужели прохожие не понимают, какое уникальное существо они толкают локтями?

Толпечня нажал на сигнал. Его таратайка, в которой вечно барахлило зажигание, была оборудована европейским трофеем – музыкальным сигналом с первой фразой из увертюры Россини.

Алиса восторгалась, бросила беглый взгляд на ряд машин перед гастрономом, хитро улыбнулась и, прикрыв ладонью рот, выдала свой «звучок», коронную ноту. Это был неполный звук и даже не половина, может быть, только четверть, но от него задрожали стекла старинного ЗИЛа. Прохожие задержали бег: кто, мол, тут балуется с транзистором?

Их легкомысленные встречи под снегопадами Москвы... «Мне с ней легко – вот и все, – думал он. – Мне с ней легко, как ни с одной женщиной прежде. Мне легко с ней и радостно. Радость встречи с ней пронизывает все мое тело, все клетки организма охвачены буйной радостью, радостью на грани взрыва, радостью послевоенной тишины, радостью блуждания и новой радостью на грани взрыва. Мне с ней так легко, что сбивается дыхание и намагничиваются руки. Мне так легко, что уже никак не оторваться и разлука немислима. И вот мы уже полгода в разлуке!

Мы не принадлежим друг другу. Она принадлежит своему звуку, я – полету. Ничего хитрого».

Никогда не думал, что тоска по женщине будет так сильна. Тоскуют пальцы, ногти, щетина на щеках и родимые пятна. Тоска на молекулярном уровне.

Он стал думать о завтрашнем прыжке и о полете в бледном исландском небе. Если Рейкьявик удачно соединится с Мар-дель-Оро, тогда полет будет парящим, планирующим, а спуск торжественным, как северное сияние. Если разговор не состоится, тогда мистер Джет свирепо прочертит в небе суборбитальную дугу, побьет свой собственный рекорд, выпьет бутылку пива и в тот же вечер улетит в Канаду.

Звонок телефона взбаламутил сумрак. Толпечня судорожно схватил трубку и скрючился на кровати в позе эмбриона.

Звонил из Москвы Боря Панегиркин, замзавсекцией сверхдальних спортивных полетов.

– Привет, старик! Вот я наконец до тебя добрался. Как прошла пресс-конференция?

– Нормально.

– Нормально, говоришь?

– Да.

– Ты немногословен. Эдуард, мы все здесь, затаив дыхание, следили за твоими подвигами в Тироле и на Пиренеях. Большая надежда на Исландию, Эдик. Удачных тебе стартов и дальше, Эдюля. Твое имя, киса, на почетной доске комбината! Поздравляю!

– Из Канады я возвращаюсь домой, Борис, – строго напомнил Толпечня.

В трубке послышалось смущенное покашливание.

– Да-да, домой, конечно, Эдик, домой, но только, старичок, через Японию. Лады? Там будет симпозиум по сверхдальним. Мы требуем включения нового спорта в Олимпийскую программу. Съедутся лучшие летуны – Мэффи Огоуфолл, Люки Ферр, Вэл Зивелло.

– Черт бы их побрал! – в сердцах сказал Толпечня.

– Эдуард, мы говорим с тобой по международной системе связи. Через спутник УХО, – испуганно-официальным тоном напомнил Панегиркин.

Толпечня хотел и этот спутник послать в преисподнюю, но тут голос замзава уплыл в ионосферу, вмешалась какая-то другая система связи, запульсировал новый спутник, что-то зажужжало, какой-то голос задрезжал с упорством приближающегося комара:

– Рейкьявик? Колин, мистер Торбеччио! Мистер Тоббич! Эдвард Тубич! Атеншен плиз, Токио спикинг! – И вдруг совсем живой, ошеломляющий голос Алисы поцеловал его прямо в ухо:

– Эдик, здравствуй!

– Ты в Японии? – заорал Толпечня. – Я лечу к тебе. Я через четыре дня буду там.

– Но я улетаю, милый. Сегодня я улетаю через Северный полюс в Европу.

– Ваш звук, мадам Крылова, необычен, попросту невероятен. Он стоит в ряду полумифических современных явлений вроде телепатического контакта с дельфинами; космической ботаники или этого нового вида спорта, сверхдальних прыжков, по которым сейчас все с ума сходят.

Алиса отмахнула назад свою гриву и зорко посмотрела на спутника – нет ли подвоха в его словах? Нет-нет, мистер Оазис был простодушен. Он упивался гладким течением своей речи и упивался беседой, дивной прогулкой в обществе утонченной русской певицы под ветреным лондонским небом, похожим на размытую палитру художника-мариниста.

Они шли вдоль рядов знаменитой лондонской толкучки на Портобелло-роуд. Здесь торговали вперемешку сельдереем, креветками, самурайскими мечами, шляпами-треуголками, безносыми гипсовыми амурами, орденами и медалями всех стран, полуистлевшими мундирами времен Великой войны, колокольчиками, майками и значками с сомнительными надписями, игрушками ё-ё, комнатными собачонками, томами лохматой прозы и оккульт-

ными знаками из Тибета. Публика здесь тоже была невероятной: индус со спящей коброй на плече, хиппи с глазами, зеркальными от наркотиков, француз-крестьянин из Нормандии, обвешанный гирляндами знаменитого вандейского лука, шалая девчонка с цитрой – одна штанина красная, другая зеленая, боа из перьев тащится по асфальту – и все здесь чувствовали себя как дома. Пожалуй, один лишь респектабельный мистер Оазис в дорогом фланелевом костюме выглядел здесь странным чучелом.

– А что такое, мистер Оазис, эти сверхдальние прыжки? Это любопытно?

– Инкредибл! Это не просто спорт, это прикосновение к тайне! Можете мне верить, я сам пытался летать на склонах Килиманджаро. Знаете, раньше прыгали с трамплинов, но с тех пор как ваш соотечественник Толбуэнчи изобрел полые лыжи, трамплины сданы в музей, как паровоз Стефенсона. Теперь прыгают прямо с горных вершин, и зрелище полета вызывает тихий экстаз, сходный с тем чувством, которое я испытал вчера на вашем концерте в Ройал фестивал холле.

Где сейчас мой соотечественник Толбуэнчи? – тихо подумала она. Одержимый своими прыжками, он мечется по всему свету, мечтает о каком-то немислимом Эребусе, как о венце своей карьеры. Что касается меня, то я готова стать немой, как губка, лишь бы быть рядом с ним где-нибудь в Голицыне, в Медведкове, на Разгуляе. Фокус тут в том, что я не могу не петь, пока люблю его, а он не может не летать, пока любит меня. Все и началось-то с любви: чудо-лыжи и этот невероятный звук.

– Ваш звук, мадам Крылова, загадочен. Должно быть, вы знаете, что в записи он теряет все очарование, – говорил мистер Оазис, задумчиво блуждая розовым, как мармеладка, ногтем в довольно пушистой бакенбарде. – Странно, что и по телевидению пропадает половина эффекта. Увы, потомкам не придется наслаждаться вашим искусством. Вы сами – часть вашего звука, и от вас исходит некий еще не исследованный психоделический магнетизм.

Алиса засмеялась.

– Вы говорите обо мне как о контактном дельфине или о лунном гладиолусе.

Мистер Оазис болезненно вскрикнул при этих словах, закрыл глаза и побледнел от непонимания.

– О, мистер Оазис, любезный мистер Оазис, я обидела вас!..

Они остановились перед маленькой дощатой эстрадой, на которой настраивала свои гитары группа «Мазутные пятна». За спинами парней были развешаны две сомнительные простыни и пододеяльник, и на этот экран сопливый подросток проецировал из бабкиного чугунка расплывающийся нефтяной спектр.

...Алиса закрыла глаза и оказалась на площади Сокола, возле пельменной. Толпечня крутил ложку в мучнистом бульоне, тоскливо смотрел в текущее стеклярусом темное окно. Публика узнала его, а он ничего не видел вокруг, потому что ждал ее...

Долговязый малый в искусно разодранном свитере выступил вперед и запел:

Старинную историю
Мне передал отец
Про глазки леди Глории
И про ее чепец.
Ах, про ее батистовый и кружевной чепец!

– Ах, про ее батистовый и кружевной чепец. – Разноплеменная толпа, собравшаяся у помоста, захохотала и зааплодировала. Аплодировал и королевский музыковед мистер Оазис. Аплодировала и Алиса... а ночь опускалась на нее, сверкая двадцатью семью эта-

жами Гидропроекта. Когда чуть-чуть притрагиваешься губами к чужим губам, тут совершается колдовство...

Однажды к леди Глории
Пришел Гастон-кузнец,
И вскоре у истории
Увидим мы конец.
Ах, этот чепчик розовый пришелся наконец.

Обвал, вакханалия четырех гитар. Хохот в толпе, свист волшебной флейты, крик какаду.

– Ах, этот чепчик розовый пришелся наконец!

...Когда после недолгой разлуки они встретились, кажется, он плакал. Трудно себе представить, но он лежал ничком, и плечи его тряслись, как у плачущего человека. Было совсем темно, и только дрожал на стене далекий отсвет вывески ВДНХ. Просторная родина распростерлась в темноте: мухинская скульптура, космический обелиск, купола выставочного Багдада, и ночь текла сквозь фильтр светофоров и белых линий на асфальте.

Она отошла от окна, присела рядом, провела ладонями по его плечам, и по рукам, и по бокам, под пальцами ее перекатывались какие-то желваки, грубые выступы костных мозолей, следы бесчисленных переломов. Ей не хотелось плакать. Ей вообще ничего не хотелось самой, ей хотелось только размазаться по всему его телу, чтобы уже совсем ничего не хотеть самой...

Я спел про леди Глорию,
Но я не жду похвал.
Ведь всю эту историю
Нам Чосер рассказал.
Ах, строгий Джери Чосер,
Он никогда не врал.

Алису вдруг увлек ритм песни, и она нечаянно выдала «звучок». Все в изумлении обернулись, а девчонка в страусином боа подмигнула ей и сказала хриплым голосом:

– Ого, подружка? Хочешь уехать?

– А я и так улетаю, – улыбнулась Алиса. – Улетаю через час в Югославию на фестиваль в Дубровник.

– Умоляю, разрешите мне отвезти вас в Дубровник на моем аэро, – загудел умоляюще мистер Оазис. – Полный комфорт, ванна из чистого золота...

– Благодарю вас, мистер Оазис, но я уже привыкла к самолетам без ванны.

Скала, с которой он стартовал, затерялась среди своих сестер, а он все еще набирал высоту. Он летел теперь над горным курортом Хаконе и видел сразу несколько отелей, три современных, японских, и один старый отель викторианского стиля. Между ними завивалась кольцами головоломная развязка автотрассы. Люди вылезли из машин и следили за его полетом. Впереди синело озеро, где он собирался опуститься, а за озером, занимая целый сектор неба, словно ворота в рай, стояла гигантская симметричная Фудзи.

Все идет нормально, думал он. Я оседлал поток и теперь пролечу сколько захочу. Пока не начну думать о лыжах. В полете главное – не думать о лыжах. Если подумаешь о том, что тебя несут твои лыжи, – конец. Это ты сам летишь. Понятно? Ты и лыжи – это одно

целое. Не «ты + лыжи», и не «лыжи + ты», и не Пантелей Толпечня. Ты летун; твоё естество в полете. Главное – не думать о лыжах.

– Эй, Джет, завести тебе что-нибудь русское? – услышал он в наушниках голос с телевизионного вертолета. – У нас есть пластинка «Разлука ты, разлука».

– В чем исполнении? – спросил он.

– Алиса Крылова.

– Не надо. Пустите тишину.

Главное – не думать о лыжах. Это – главное.

Она пела под сильным и знойным юго-западным ветром, на галерее Ректорского дворца, и звук ее расширялся на весь Дубровник. Туристы и далматинцы заполнили Плазу и все боковые улочки, все лестницы Кафедралья и церкви Маленьких Братьев, крепостные стены и башни, они стояли стеной вокруг фонтанов Онофрио, а дети, так те сидели прямо в воде.

Звук ее расширялся сквозь гранит и сквозь мрамор, сквозь бронзу и серебро, пожалуй, даже сквозь годы, думали далматинцы, уж не улетел ли он вспять к причалам пиратской Рагузы?

Главное – петь, думала она. Петь и не думать о связках и гортанных хрящах. Какие еще психоделические эффекты? Я и голос – это одно, это звук. Забыть обо всем, и о фанатике с ультрафиолетовым лицом тоже забыть. Я звук. Все равно мы не встретимся, пока любим друг друга, а разлюбим, так нечего и встречаться. Звук – я. Главное – не думать о хрящах и связках.

– Пробуют какие-то новые усилители, Ханни, – сказал в отеле «Эксельсиор» турист Джонни Гогенцоллерн своей невесте туристке Пегги Габсбург. – Временами кажется, что поет Алиса Крылова.

В конце декабря со сломанной ногой он оказался дома, вернее, в клинике Института усовершенствования врачей.

Огромное желтое с белыми колоннами здание больницы было построено в XIX веке на берегу худенькой речушки Шпильки. Больница в течение десятилетий разрасталась, к ней пристраивались новые корпуса, операционные и инфекционные блоки. Речушка давно уже исчезла, включилась в систему канализации, но в народе больницу все еще называли Шпилькой. «Попал в Шпильку» – так и говорили в народе.

– Жить и видеть, – бормотал Толпечня день за днем, глядя на свою загипсованную и подтянутую на блоке ногу.

Сосед его, хоккеист Саша Луньяк, без конца пел одну за другой модные песенки.

– Опять стою на краешке земли... В городе нашем, эх, многолюдном... Но ты прости, ты прости, капитан... Постарею, побелею, как земля зимой... Но я лечу, лечу, эх, и кричу...

Левая стопа Саши была раздроблена копытом во время десятой игры с «Монреаль Канадиенс», но сейчас он был уже, по его выражению, в порядке, ковыляя на костыле по коридорам, и приносил больничные новости, на которые безучастный Толпечня реагировал слабо.

– Да, Алоллинарыйч, – однажды сказал Саша, – вчера в красном уголке одна кадришка-замухрышка, хрипатая такая, передала мне для тебя записку. Извини, забыл.

Толпечня надел очки и прочел:

«Шпилька» гудит слухами о знаменитом пациенте. Я все о тебе знаю. Врачи говорят, что хромать не будешь. Что касается меня, то я сегодня уже выписываюсь, из отоларингологии. Я сорвала связки, и хрящи мои почти расплавились. Звук пропал навсегда, и я говорю теперь только шепотом. Прощай, я прошла ВТЭК и уезжаю в другой город. А. К.

Желаю тебе все-таки прыгнуть с Эребуса».

– Когда ты получил записку? – спросил Толпечня Луньяка.

– Вчера в это же время. Извини, старик, у меня этих записок полный карман. Пока разобрался...

– Дай нож, – попросил Толпечня. – Вон тот, фруктовый.

– Хахакири? – с любопытством спросил хоккеист.

Фруктовым ножом Толпечня перерезал нейлоновую нить натяжения. Нога его грохнулась на кровать, как поверженный монумент. Он встал и в несколько приемов подошел к окну. Обломки берцовой кости нестерпимо вспарывали мягкие ткани.

За окном в рамочке мороза был его город: сквозь пушистые ветви Нескучного сада просвечивали Патриаршие пруды, и толпы народа вытекали из метро «Ботанический сад» и тянулись по Театральной к Гоголевскому бульвару, откуда юзом полз одинокий троллейбус. Фасад Консерватории отражался во льду, переходя в Третьяковскую галерею, а рядом огромный под снегом Маяковский покровительствовал могучей спиной малышу «Современнику». Дальше была мельтешня такси, деловых людей и домохозяек, пульсация световых форов. Спас-на-курьих-ножках, котлетная, рыбная, шашлычная, а в самой глубине картины среди сотен лиц угадывалась у дверей бутербродной обледеневшая от суточного ожидания женская маленькая фигура.

Он распахнул рамы и взгромоздился на подоконник.

– Далеко собрался, Аполлинарьич? – полюбопытствовал сосед.

– Еще не знаю, может быть, и далеко. Никогда не знаешь, сколько пролетишь.

Мороз и свежий запах хвои наполнили комнату. Толпечня понял, что он замечен, и тут же услышал зарождение звука. Звук поднимался из глубины, из солнечной дымной долины, он набирал с каждой секундой неслыханную мощь и громоздил ему гору. Ледяную красивую гору с идеальным скатом и полкой для прыжка. Тогда он забыл про боль и пустился вниз.

Он пролетел над городом, над парком и над льдом, над памятником и магистралями, а звук чертил за ним в предвечернем небе новогоднюю траекторию и опускался рядом.

Похрустывая загипсованной ногой, Толпечня подошел к бутербродной, и...

Никаких неприятных неожиданностей в этом рассказе больше не будет.

Александр Снегирев Как же ее звали...

– Она спросила: «Это Сталин?»

Деревья, кустарник, хрустящие дорожки. Сюда сосланы властелины прошлых государств и ведомств. Подвиги и злодеяния остались позади, за поворотом века, а памятники, словно заблудившихся склеротиков, собрали по городу и свезли на траву под кроны. Наркомы, маршалы, несгибаемые солдаты забытых фронтов, гранитные, бетонные, отлитые из цветно-металлических сплавов, лишённые площадей, постаментов, некоторые вовсе позорно уложенные в траву. Каждого можно облапать и на коленки присесть для прикольной фотки. А старички только рады. Высовываются из зарослей, выглядывают из-за кустов. Превратились в лесных духов, сатиров и вакхов, во всю ту нечисть, которая населяет леса, парки и водоемы.

Белокурая малышка притащила меня сюда. Позирует, просит сфотографировать. Лучше бы в кино пошли. Надо было с ней рвать, когда она, пожелав сойти за умную, назвала любимые книжки: «Мастер и Маргарита» и «все» у Ремарка. Я себе давно пообещал: «Услышишь про Ремарка – рви сразу, не оттягивай». И вот она ласкает юдифьевым педикюром каменные губы Ильича-Олоферна, того и гляди растормошит старика и тот не удержится, лобызнет ее мизинчик. И она еще спрашивает, Сталин ли это. А ведь могла и Пушкиным назвать.

Кстати, а мы ведь встречались раньше. Неужели тот самый? Только шея надломилась. Помню, стоял себе в одном маленьком дворике, и лишь конец Советского государства переместил его в эту скульптурную резервацию. Стоял сентябрь, как сейчас, и воздух был прозрачен, и видно было далеко, как сквозь хрусталь. Хотя это для красного словца. Через хрусталь ни черта не разобрать даже на метр, я однажды пробовал, смотрел сквозь вазу. Но когда оцениваешь хрусталь со стороны, кажется, что он увеличивает прозрачность атмосферы в разы.

В тот год я только приехал в город после армии, провалил вступительные, устроился рабочим в мосфильмовском павильоне и снял комнату у Елизаветы Романовны. Слонялся в выходной день по опустевшему центру, когда москвичи укатали на дачи, и увидел объявление: «Сдаю комнату студентке». И почерк такой аккуратный. Я еще подумал, может, девушка красивая, компаньонку ищет для совместных штудий. Вряд ли, конечно, но чудеса случаются. И хоть я и не студентка вовсе, студентка из меня, прямо скажем, хреновая, но по адресу решил пойти, благо в двух шагах.

Елизавета Романовна оказалась далеко не девушкой, годов ей тогда было хорошо за семьдесят, но спину держала прямо, два раза в неделю по часу плавала в «Москве», регулярные пешие прогулки, контрастный душ. Активное долголетие, короче. К моменту нашей встречи Елизавета Романовна несколько лет как овдовела, муж – отставной полковник помер, оставив трехкомнатную квартиру, старомодные галифе с кантом времен Парада Победы и сына, который, как водится, оказался неблагодарным, во второй раз женился и уехал на строительство электростанции на далекой северной реке, воды которой вовсе вымыли память о родной матери. Тогда еще эта тема с великими северными стройками была актуальна, на излете правда, но спрос имелся. Короче, сын далеко, внуков нет, быт налажен, горка с посудой, зеленый штоф, белые салфетки, Елизавета Романовна решила сдать комнату.

Я ей сразу приглянулся. Певуче, по-московски так, она сказала, что я, кажется, приличный молодой человек и не обижу старушку. И пустила меня на постой в тот же день.

Плата оказалась вполне по карману, я получил ключ, право пользоваться туалетом и ванной и целый список правил, как следует себя вести в новом жилище.

Я зажил очень хорошо и спокойно бок о бок с Елизаветой Романовной. Она рассказывала про мужа, потом стала кавалеров вспоминать, попутно давая мне советы, как себя вести с девушками, что делать следует, а чего делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Мне запомнился ее рассказ о студенческих годах, когда за ней ухаживал институтский красавец, спортсмен, здоровяк, победитель соревнований, все девушки заглядывались и юная Елизавета Романовна едва не согласилась за него выйти. Если бы не одно обстоятельство – однажды в столовой она случайно увидела, как спортсмен и здоровяк доедает с чужих тарелок. Бедняге не хватало стипендии досыта наесться, он был нищий, все были нищие, все голодали, но доедать за другими... Больше она с ним не то что за руку держаться – видеться не могла. Вот такая тонкая душа. А потом соседка по комнате с курсантом познакомилась, а у того, конечно, приятель оказался. И закрутилось. Мужа в погранвойска направили, в Эстонию, которая только-только почти добровольно присоединилась к Союзу. Переехали на новое место, муж стал возвращаться за полночь. Сначала злой бывал, а потом стал пьяный приходиться или вовсе не являлся. Говорят, ночные расстрелы им поручали. Всех младших офицеров привлекли. Надо было срочно с эстонцев спесь сбить. Слава Богу, война. Трагедия, конечно, но зато не до пьянки. Ее с пузом, как жену военного, в поезд и на Урал в эвакуацию, а мужа на фронт. Сына родила поздней осенью, когда немцы Москву взять почти взяли да застыли, морозом ранним заколдованные. Как выжили, не знает, тряпье эстонское, которое с собой прихватить успела, на хлеб меняла, так и протянула до возвращения мужа через два года. Контузия, зато руки-ноги целы. Потом по стране мотались, хорошо, соседка на Сахалине надоумила и муж в Академию поступил. Перевелся в Москву, окончил учебу, получил назначение в Генштаб, дали комнату, потом квартиру. Домик старый, неказистый, ни одного прямого угла, но за другими объедки не собирали.

Я решил год готовиться, а пока подрабатывать чем придется на киностудии. Узнав о моих амбициях, хозяйка моя воспрянула, сообщив, что мечтала быть актрисой, поклонялась Орловой и открытки с итальянками собирала, только они потерялись при переезде. Хотел бы я увидеть женщину, которая не мечтала стать актрисой. Наверное, такие где-то водятся, но мне не попадались. Вулкан, короче, проснулся. Однажды утром Елизавета Романовна, встретив меня на кухне, пожелала доброго утра слепящими помадой губами, а через плечо песец переброшен. Кажется, в ответ я сделал достаточно изящный для раннего времени суток комплимент. На что Елизавета Романовна закурила длинную сигарету.

Она покуривала, но чтоб вот так, рука на отлете, кольца в потолок и туманящийся взгляд... Такого я раньше не замечал. С того дня окурки в помаде стали попадаться повсюду, она их вдавливала в каждую чашечку, ложечку и розетку. Пепельницу Елизавета Романовна не заводила, потому что не признавалась, что курит. «Если бы я курила, то стоило бы приобрести пепельницу, – говорила она. – А я так, балуюсь». На слове «балуюсь» она подмигивала мне слипшимися от туши ресницами.

Наряды сменяли один другой. К завтраку, обеду и ужину Елизавета Романовна иначе как в новом платье или накидке не выходила. Лиса и упомянутый песец, германские трофеи, усыпленные нафталином и мирно почивавшие годами в старых чемоданах на антресолях, были разбужены и диву давались на свою хозяйку. Я наблюдал метаморфозы Елизаветы Романовны как безобидную очаровательную дурь престарелой, все еще яркой дамы, пока она не вручила мне завернутую в бумагу коробку:

– Подарок.

Почувяв недоброе, мои вскрывающие сверток пальцы слегка дрожали. Фотоаппарат. Елизавета Романовна купила мне фотоаппарат. На днях я, кажется, что-то брякнул про то, что она очень красивая в своем новом образе с сигаретой этой и мехами. И вот на тебе. Мог

ли я тогда подумать, насколько этот подарок изменит мою жизнь. Я пожал ее руку, а следом, повинувшись какому-то инстинкту, поднес к губам. Когда, смущенный своим порывом, я посмотрел на нее искоса, то смутился еще сильнее – она широко улыбалась простой улыбкой, без намека или смысла, как дети улыбаются, и с ресниц ее накрашенных падали капли.

– Спасибо, – сказала она и отвернулась в поисках несуществующего предмета.

Я стал производить ненужную суету, а она принялась говорить о погоде. И оба мы смотрели в разные стороны, больше всего боясь встретиться взглядами. Такое у людей только после случайного интима бывает.

– Все говорят, у меня девичий овал лица. Я красиво курю и умею прощаться, как Анна Маньяни, – сказала, высморкавшись, Елизавета Романовна. Развернулась спиной, хлестнув меня по носу песком, и пошла вон из кухни, качая задом, а на самом пороге коридора обратила ко мне свой девичий овал лица, вскинула осушенные и заново подкрашенные ресницы и подмигнула. А потом пошла дальше и махнула одними пальцами не оборачиваясь. Не знаю, выделявала ли подобные штучки итальянская актриса Маньяни, но у моей домохозяйки получилось здорово, настоящая пута.

В тот день я только и делал, что ее фотографировал. В кресле мужа, на диване, в постели. В постели она позировала, облаченная в кружева. Естественно, она меня попросила снять крупным планом тлеющую сигарету у нее во рту. Что-то наивное, подростковое есть в этой любви к фотографированию с сигаретой. Типа, запечатли, фотограф, как плавится лед на моем бархатном теле. Такие снимки все похожи один на другой, все одинаково бестолковы. Но я тогда еще этого не знал, я держал фотоаппарат чуть ли не первый раз в жизни, и тот снимок у меня получился хорошо. Храню до сих пор. Сигарета между темными длинными ногтями, она кончиками пальцев всегда сигареты держала, и густые губы, пришитые к выбеленному лицу частыми стежками запудренных морщин.

Мы увлеклись. Не заметили, как наступил вечер. Перекусили бутербродами. Она сказала, что видела в польском фотографическом журнале девушку в шубе под струями воды. Не успел я оценить масштаб задумки, как Елизавета Романовна выволокла из шкафа огромный мешок и уже потрошила его, кашля от пыли и нафталина. Я бросился помогать, и нашими совместными усилиями на свет была извлечена громадная норковая шуба.

– Не смотри, – сказала моя модель, и я отвернулся.

За спиной тяжело хлопали меховые полы и рукава, скрипели дверцы шкафа, доносились бормотание «сейчас, сейчас», стукнула отброшенная крышка картонной коробки...

– Можно.

Я повернулся. Елизавета Романовна была в шубе и в белых туфлях на высоком каблуке. Надо ли говорить, что шуба с заметной, выеденной молью проплешиной на плече была надета на голое тело, которое Елизавета Романовна драпировала и приоткрывала одновременно.

В голове у меня мелькнула мысль, что дело заходит далеко, но моя хозяйка прошла напрямик в ванную, и облако духов увлекло меня следом.

Люди часто бывают жалкими, когда позируют. Пытаются казаться кем-то, неумело реализуют свои желания, раскрывают внутренний мир или что там у кого имеется. Но бывает такой порог, за которым человек перестает быть жалким и становится каким-то таким, чему нет названия. Что вызывает оторопь и молчание. Нелепость, производящая впечатление чуда. В тот день я стал свидетелем подобному.

Елизавета Романовна перемахнула, сверкнув мозолями, не без труда и с моей помощью, через край ванны, пустила воду и тут только вспомнила, что горячую отключили из-за аварии. Я с облегчением решил, что авантюра не состоится, но Елизавета Романовна, утратив всякое благоразумие, проявила непреклонность, направила на себя ледяную струю и скомандовала: «Снимай!»

И я стал снимать. Щелкал и щелкал. А она с каждым щелчком все больше млела. Будто не холодной водой себя поливала, а гидромассажем нежила. Я очень боялся, что она заболеет, и несколько раз говорил: хватит. Губы ее сквозь смывшуюся помаду синели, шуба намокла, превратившись в тряпку, но она требовала еще. Наконец я отложил фотоаппарат и выключил воду.

А она стала настаивать, чтобы еще.

Вцепилась в мои руки.

И наши лица как-то слишком близко друг к другу оказались.

И я свое лицо отодвинул.

Передо мной стояла старуха в мокрой шубе, с прилипшими ко лбу крашеными прядками, с потекшей косметикой. Велел ей сбросить шубу, рукава которой долго не хотели отпускать тело. Вдруг я стал доктором или отцом. Завернул ее в полотенце и отвел в постель. Даже не помню, видел ли я ее голой.

Я сделал ей чай и наказал спать. На следующий день она, конечно, заболела и провалялась в жару неделю, бредила, чертя на груди периметр ямы, которую должны выкопать какие-то инженеры. И все это время я ходил за ней, менял холодные салфетки на лбу, поил чаем. Фотографии проявил и пришил в ее комнате к обоям. Все стены увешал. Без хвастовства признаюсь – классные снимки получились. Скажите после этого, что упорство не добродетель.

А потом она выздоровела – и началось. Сначала попросила всегда, когда я ухожу из дома, махать ей со двора в окошко. Путь к метро шел через дворик мимо памятника, и каждый раз, поравнявшись с Ильичом, я должен был обернуться и помахать ей рукой. Я был не прочь, махал себе и махал, а она повадилась меня провожать в любое время суток, как бы рано я ни уходил, короче, сухие листья облетели и снег образовал на гипсовой лысине белую шевелюру, а я все махал и даже полюбил это дело, пока один раз не забыл помахать. Торопился. Возвращаюсь вечером, устал как собака, весь день строили декорации, а на Елизавете Романовне лица нет. Глаза опухшие, весь день рыдала. И со мной холодна. Что случилось, спрашиваю.

– А вы не догадываетесь?

Нет ничего хуже, когда спрашивают, догадываешься ли ты о чем-то, а ты бы рад догадаться, да только не знаешь, о чем догадываться. А когда все это на «вы», совсем дела плохи.

– Вы меня обманули. Не помахали, как мы договаривались, – дрожащим голосом предъявила она. – Я чуть с ума не сошла.

Тогда-то и надо было менять место жительства, только я не придавал должного значения этой сцене, да и привязался к моей эксцентричной хозяйке порядочно. Я извинился в самых изысканных и откровенно льстивых выражениях и на следующий день махал в два раза дольше обычного. Она уже за занавеской скрылась, а я все махал, наверняка ведь в щелочку подглядывает. После работы конфеты купил, гвоздики, шампанское. Роковая ошибка. Посидели, выпили, инцидент вроде загладился, я засобирался спать, а она схватила кувшин с водой и за мной в комнату. Кактус полить приспичило. Пожалуйста, я не против, только она кувшин до горшка с кактусом не донесла, а опрокинула мне на кровать, необратимо намочив место моего ночлега. Ох, ах, какая я неловкая.

Я уверил, что ничего страшного, на полу посплю.

А она мне:

– У меня кровать широкая, места хватит.

– Я храплю.

– У меня муж знаешь как храпел, тебе до него далеко.

– Я...

Она перебила меня поцелуем.

– Уже и пошутить нельзя! – задорно рассмеялась Елизавета Романовна, отлипнув от моих губ.

Я подхватил.

Мы захохотали.

Она толкнула меня в грудь.

Я хлопнул ее по плечу.

Она играючи коснулась моего живота. И не отвела руку. И придвинулась вся. И вниз полезла. И стала наглаживать, будто тесто раскатывала.

– Что, и пошутить нельзя? Пошутить нельзя? – твердила она, упорно смеясь и дергая пуговицы.

Я перехватил костяную руку.

– Пошутить нельзя? – захныкала она.

Я держал крепко. Только ее неожиданный визг заставил меня разжать хватку.

– Ты за кого меня принимаешь?!

– Елизавета Романовна...

– Я... пренебрегла всеми приличиями... я... не игрушка... скомпрометировать вздумал... вон из моего дома!

Не заставляя ее просить дважды, я стал кидать свои вещички, которых, к счастью, было мало, в сумку. Очередной месяц подходил к концу. Долгов за мной не было. Переночую в павильоне, сторож пустит, а там осмотрюсь, пора с этой сумасбродной старушенцией завязывать. Пока я собирался, она курила, презрительно присматривая, как бы я не прихватил что из фарфора. Думал, брать или нет фотоаппарат, решил взять. За последние недели не было и дня, чтобы я не фотографировал, и мои карточки уже хвалили на студии.

– До свидания, Елизавета Романовна, – сказал я с порога.

Тут она схватила себя за ушами и с треском рванула. К пальцам лип скотч. Она подтягивала кожу липкой лентой, маскируя эту косметическую уловку шарфиком и волосами. Шуршание скотча, поплывший девичий овал лица и ее злобное рычание поразили меня настолько, что я не мог пошевелиться. Бешенство старухи вылилось в слова. Она кляла меня на чем свет стоит, обзывала неблагодарной тварью, змеей, из ее рта вместе с ошметками помады летели неизвестные мне малороссийские проклятия, видимо усвоенные в пору обучения в Харьковском университете. Я был заморожен происходящим настолько, что не очухался даже тогда, когда она, отлепив наконец от пальцев скотч, разбила о пол горшок с кактусом, побежала в свою комнату, стала срывать со стен фотографии, скомкала, порвала и принялась швырять в меня. А потом вдруг бросилась мне под ноги, схватила и стала умолять не бросать:

– Я совсем умру одна! Ты не можешь так уйти! Кто тебя будет кормить?!

Я только поднимал повыше сумку, будто снизу плескали волны, способные намочить мои пожитки. Наконец, когда сознание вернулось ко мне, я не стал отцеплять ее от себя, не стал упрашивать прекратить истерику. Я просто сказал: «Я остаюсь».

Надо отдать ей должное – вопли и мольбы сразу прекратились, я подал ей руку, она встала на ноги и принесла извинения за свое поведение. Ту ночь я провел на полу рядом со своей мокрой койкой.

Несколько дней мы почти не виделись, она скрывалась в своей комнате, я пропадал на работе. А потом наладилось. Сначала аккуратно, как по первому льду, вернули совместные чаепития, затем я широким жестом возобновил прощальные помахивания. Вышел однажды из подъезда, остановился у памятника и помахал не оборачиваясь. Как Анна Маньяни. И сразу обернулся. И увидел, как занавеска заколыхалась. Фотографирование, не сговариваясь, решили не продолжать, остались, что называется, добрыми друзьями.

Зима уступила место весне, которая была так долгожданна, что пролетела совершенно незамеченной, и вот уже августовские ветры во всю подгоняли лето к новому сентябрю. Исполнился год, как я прибыл в столицу. К тому времени я без сожаления провалил вторую попытку поступления и познакомился с одной девчонкой, тоже приезжей. Она планировала выучиться на модельера, а пока временно работала ассистентом гримера. Не то чтобы она у меня первая была, но все равно что первая. Я от нее совершенным дураком делался. Она ко мне тоже очень благоволила, штаны-бананы сшила идеально по фигуре. Страсть, однако, угасла сразу, как только предмет моего восхищения покорился. Я почувствовал себя залихватски: стал озиаться по сторонам, замечать других, превратился вдруг из тихони-лимитчика в пижона-соблазнителя. Недавно верный воздыхатель, я как-то сразу стал прожженным циником, загулял, как мне тогда показалось, довольно ловко, с другой – и тут моя вдруг забеременела. И я решил посоветоваться с Елизаветой Романовной. Не посоветоваться даже, просто рассказать. Мать бы меня запилила за неосмотрительность, а мне нужно было взвешенное мнение. После всего, что между нами было, я решил – лучшего исповедника не найти.

Вскоре за чаем представился удобный случай. Выслушан я был внимательно. Еще молодой человек. Впереди вся жизнь, в стране перемены, и скоро перед молодежью откроются такие перспективы, о которых старшее поколение и мечтать не могло. Елизавета Романовна расхваливала мой фотографический талант, говорила, что путь художника тернист, но славен и что не стоит спешить обременять себя семьей, не набравшись опыта, не сделав еще даже первых шагов на этом пути. Умело переплетая факты с лестью, Елизавета Романовна поселила во мне сомнение, точнее, уверенность в том, что место рядом с гением не может занимать беременная помощница гримерши.

Некоторое время я раздумывал над ее словами, говоря сам себе, что люблю... как же ее звали?... люблю, в общем, ту девчонку и хочу, чтобы она была матерью моих детей, но решение уже жгло своей очевидностью. Вскоре, при первой же пустячной размолвке из-за несогласия, как провести выходные – гулять в парке или рвануть в Питер, мы рассорились, и я заявил, что должен о многом подумать. На следующий день мне хотелось извиниться и все забыть, про интрижку и разлад, но подружка моя сказала, что не хочет связывать свою жизнь с таким, как я. Я ответил, что сам давно хотел ей сказать о том же, пора разбежаться, а ей сделать аборт. Ни на какого модельера она с ребенком не поступит. Типа, я о ее будущем подумал. Даже кассетный плеер Sony продал. Чтоб на доктора, на лекарства и на все остальное хватило. Только зря продал, она ничего не взяла. Но попросила в больницу с ней съездить. Я еще гордился, что поступаю как настоящий мужик. Дело так быстро обтяпалось, я толком и сообразить не успел. Это была единственная женщина, которая от меня забеременела. Других случаев с тех пор не случалось. По крайней мере мне неизвестно. А имя из головы вылетело, совсем память ни к черту.

Когда в тот день я вернулся в свою комнату, Елизавета Романовна пила вино:

– Любимое вино Сталина.

Налила мне, подмигнула и опрокинула сразу весь бокал. И я хлебнул. Какая все-таки дрянь эти сладкие вина. Бабий вкус был у генералиссимуса. Если бы он пил сухое, коньяк, водку, ему бы многое простилось, но регулярно глотать эти сладенькие градусы...

– Сын пишет? – спросил я, чтобы не молчать.

– У меня нет сына, – ответила Елизавета Романовна.

И улыбнулась.

И зубы ее были черны.

– Мой сын родился мертвым в городе Ирбит, Свердловской области, второго октября сорок первого года.

* * *

Прошло больше двадцати лет. Союз распался, эстонцы, которых вопреки сомнениям, гасимым водкой, некогда покорял муж Елизаветы Романовны, вместе с другими братскими народами покинули Россию, разбежались кто куда, влекомые посулами соседей и доброжелателей. Кратер любимого бассейна Елизаветы Романовны закупорили храмом. Я так и не предпринял третьей попытки поступления, а целиком отдался фотографированию, которое вскоре принесло мне деньги и положение. С той ночи я ни разу не заглядывал в маленький дворик, стараясь побыстрее позабыть Елизавету Романовну, что мне вскоре удалось. И вдруг теперь, когда моя спутница набрела на притащенный в парк поваленный памятник, те далекие дни встали перед глазами с перекрученной резкостью.

Сославшись на головную боль, я навсегда отвез читательницу Ремарка домой, а сам поехал к Елизавете Романовне. Я вошел во двор, когда на город опустился вечер. Вместо памятника фонтан и фонари, вместо окна... Домик стоял на прежнем месте, но видом своим изменился. В нем теперь ресторан и клуб и окна второго этажа, в том числе то заветное, наглухо замурованы. Только очертания угадываются.

На веранде играл квартет и гости, мои пьяные ровесники и те, кто помоложе, танцевали и пели советские, русские и еврейские песни. Дощатый пол дрожал.

Через открытые окна донеслось, как полнотелый остряк, с горлом, перетянутым бабочкой, произносит тост за товарища Сталина. Толстяк кончил, и все захохотали. И музыканты грянули. И девки тряпки лондонские стали сбрасывать и бокалы икеевские бельгийскими сапогами топтать.

Я пошел мимо извозчиков, осыпающих подсолнечную шелуху под колеса спящих «Мерседесов», мимо придушенных асфальтом деревьев, мимо чужих домов и пресыщенных мусорных баков. Говорят, той страны, где я фотографировал Елизавету Романовну и махал ей на прощание, больше нет, а она вот. И далекая мелодия звучит, и девушка со стулом танцует, и вокруг русская ночь, которую никакой нефтегазовый свет рассеять не в силах.

А вот я... Моя квартирная хозяйка не ошиблась – у меня и вправду талант. Моя работа стоит дорого, я никогда не фотографирую свадьбы, корпоративы и детей. Имею премии, выставки, обложки. Поток женщин не иссякает – я умею получать изображения, на которых заурядные длинноногие девчонки делаются нездешними королевами. Превращаю легонькое винцо в роскошный напиток, бижутерию в драгмет. В обмен могу выделять с ними что пожелаю. Мужики завидуют, не зная, как я завидую им. Женщины любят не меня, а власть фотографа. Она делает их красивыми и знаменитыми, дарит отмычки от мира, о котором большинство их сверстниц только мечтают, скупая дешевые блестящие листалки возле окраинных станций метро. А я завидую бедным и бесправным. Они точно знают, что если любимы, то за просто так. А меня кто любил за просто так... Одна Елизавета Романовна и любила. Да еще та девчонка... только имени ее никак не вспомню.

Роман Сенчин Мы идем в гости

В субботу, за завтраком, мама вдруг объявила:

– Сегодня мы идем в гости!

У Татьяны на день были свои планы, у Мишки – свои. Услышав об этом, мама расстроилась, даже возмутилась:

– Кажется, я вас не очень стесняю. Так? Но сегодня прошу... требую!.. пойти со мной. Это очень важно.

Они жили втроем. Отец уехал четыре года назад; с тех пор Татьяна и Мишка видели, не могли не замечать, как быстро мама меняется. Что-то стало в ней появляться такое – неприятное. Стала она походить на чужую, вечно насуспенную, готовую к скандалу, к ругани тетку. По вечерам сидела на диване без дела, слепо смотрела в сторону телевизора; еду готовила через силу, озлобленно как-то... Но с месяц назад мама начала слегка оживать, отмякать, с работы приходила немного позже обычного грустноватая, зато добрая и заботливая. И дети, уже почти взрослые, догадывались, в чем причина ее оживленности, поэтому не стали сопротивляться – поняли, куда зовет. Им показалось, что поняли...

Быстро закончили завтрак, оделись празднично и вышли из дому. Автобус подъехал к остановке почти сразу – ждать не пришлось. И только там Мишка не выдержал и спросил:

– Мам, а куда мы все-таки?

– Мы... Мы к Вере Ивановне.

– Чего?!

Пассажиры обернулись в их сторону...

Вера Ивановна была маминой сослуживицей; она появилась здесь совсем недавно, в конце лета, и вскоре по городку побежал слухок, что ее сын болен страшной болезнью, о которой здесь знали только из передач по телевизору... Несколько раз, возвращаясь с работы, мама вслух горевала: «Наши даже близко к ней подходить не хотят, бумаги после нее в руки взять брезгуют. Эти, в отделе кадров, ворчат всё, зачем ее приняли – не знали, что со Славиком у нее такое... Славик вообще на улицу почти не выходит... Нужно им как-то помочь, поддержать бы». И вот, значит, сегодня решилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.